

Ирина МУРАВЬЕВА

ЧУЖОЕ СВОЕ

Ирина Машинская. И я подумала о Скотте. – М: Стеклограф, 2025. – 168 с.

Тихий талант такая же редкость, как снег в июне. Проза исключительной внятности, емкости и красоты, появившаяся внезапно, вышедшая более чем скромным тиражом, подобна такому снегу. Принято различать литературу, рожденную в эмиграции, и литературу, рожденную на родине, потому что, кроме воды и земли, их разделяет промежуточное состояние пишущего. Книга Ирины Машинской настолько великодушна, настолько внимательна ко всему, что было *чужим*, а стало своим, настолько предана *своему*, далекому, переложенному во глубину неостывающей памяти, что «здесь» и «там» смешиваются в её прозе так же органично, как артериальная и венозная кровь смешиваются в предсердии.

«А теперь дзенские трубочки звенят на ветру, на крыльце, в пуританском пригороде за рекой, и еще не повис на двери венок, а над дверью – дымок Рождества. Одно я скажу тебе: кто был счастлив там, на почерневших задолго до зимы виниловых полях с волнистыми бороздками, тот счастлив и тут, в антимире, и не замечает, что ходит вниз головой. Он готов ко всему, кроме слова “навсегда”; он стоит на берегу птичьей бухты у самого края Немерики в зернистом, как земля, шарфе, в петлях которого застряли жесткие чешуйки местной литвы...»

Читателю не нужно быть посвященным в потрясения и переживания автора, чтобы ощутить масштаб, присутствующий во всем, заданный каждому узелку сюжета, поскольку масштаб этот имеет самое что ни на есть серьезное происхождение: им движет настороженная совесть, которая, соединившись с даром словесным, всякий раз приводит читателя к одному и тому же: ощущению счастливого удивления от прочитанного. Каждое слово, основной строительный материал этого прекрасного труда, написанного крупно и тщательно, проверено на вкус, как яблоко или молоко, и даже если бы не было известно, что Ирина Машинская – поэт, проза «И я подумала о Скотте» выдала бы её секрет с головой. В этой работе нет ни малейшего намека на исповедальность, она целомудренно и настойчиво отъединяет автора от объекта повествования, и в этой целомудренной отстраненности есть главное, на мой взгляд, достоинство – готовность принять наш мир таким, какой он есть. Машинская не ищет мировоззрения, не притязает на пророчество, не объясняется в любви, не кается и не впадает в ярость. Поэтому даже небольшая, сдержанно написанная картина смерти близкого человека не заставляет ахнуть от жалости, но проводит тихую, но сильную болевую черту, разделяющую краткую картину этой смерти со всем остальным содержанием.

«Ты лежал на полу лицом вниз в соседней комнате, как я нашла тебя. Тот полицейский был, видимо, старший по званию, он сидел рядом со мной за столом и задавал мне вопросы, как подозреваемой, другой записывал. Тебя унесли; унесли твою кожаную тетрадь с запиской, лежавшую в ней ручку и баночку чернил. Мой телефон зазвонил, я машинально ответила по-русски, меня быстро остановили. Июльская ночь была необычно жаркая и влажная, они все ходили вокруг меня мокрые, хотя дом был каменно-холодный, удивлялись темноте, и все искали выключатели».

А вот – для подтверждения моей догадки о тихой и одновременно мощной, а иногда отчетливо трагической природе её письма – отрывок стихотворения, в котором тишина и страх сливаются:

В полседьмого навеки стемнеет,
я вернусь в городок никакой.
Пусть он взвояет, пускай озвереет
мотоцикл за Пассаик-рекой.

<...>

Никого моя жизнь не спасает.
Светофоры горят из кустов.
Это **тихое** слово *Пассаик*
пострашнее татарских костров.

Проза Машинской останавливает внимание не только своим словесным совершенством, но (а мне кажется, это важнее, ибо реже встречается) своей прячущейся от света, от постронних глаз личностью, которая остается в тени, уступая место всему, что коснулось её на дороге жизни: людям, городам, городкам, рекам, пульсирующим ежесекундно большим и малым событиям. Но чем старательнее она прячется, тем ярче – на фоне тишины и скромности – её душевные взрывы, когда вдруг раздвигается плотный занавес, и главное действующее лицо – автор – делает полшага вперед.

«Ночью началась реакция на вакцину, и так трясло! Не озноб, а прямо какая-то пляска святого Витта. Так у меня было, кажется, только два раза в жизни... <...> Я лежала под сотней зимних американских одеял в сотне свитеров, но это не помогало, и я решила лучше думать о моих героях – как Скотт и его товарищи тащатся по леднику Бирдмора на своем печальном пути с полюса, когда они уже нашли палатку Амундсена, и в ней немного припасов и письмо норвежскому королю – Амундсен вежливо просил Скотта передать. <...> И я подумала о Скотте в ту их последнюю неделю в палатке, когда они не могли выйти из-за метели, которая продолжалась десять дней, до конца марта; он вел еще дневник, а Уилсон и Бауэрс уже не писали родным, как прежде, и как выяснилось – это их метеоролог потом установил, Симпсон, который не мог себе простить гибели обожаемого Скотта, – что никакой метели не было уже, никакая метель не длится в Антарктиде десять дней, и наоборот, стало теплее; но Уилсон и Бауэрс говорили ему, что метель, потому что знали, что он не дойдет...»

Я уверяю вас, что во всей нынешней литературе вряд ли отыщется еще один пример такого «романтического», с точки зрения современного человека – циника, готового сдать в плен искусственному интеллекту, – такого страстного и благородного порыва сочувствия. А лучше сказать: прорыва. Поскольку мы все в тупике безразличия, то вяло скрываемого, то совсем обнаженного, мы страшно устали от дел, от забот... А есть и болезни. Чего только нет! Но планка сочувствия, и больше того, способность заставить себя отключиться от собственной боли, от собственной дрожи, от собственных страхов не только понижена, она словно падает с каждой минутой.

Перед нами великолепная, ювелирная, чистая и переливающаяся всеми огнями, всем личным и сложным пониманием жизни (насколько мы вообще можем и смеем говорить о ее понимании), всеми оттенками и глубиной проникновения в каждую мелочь (или то, что мы привыкли считать мелочью) проза.

Устроенная честно и тонко. Никакого тумана в ней нет, есть дымка, налёт этой умной открытости, который не заслоняет главное, ничего не заволакивает. Открытость есть, а тщеславия нету.

Поразительная вышла в издательстве «Стеклограф» книга. Прекрасная, светлая книга.